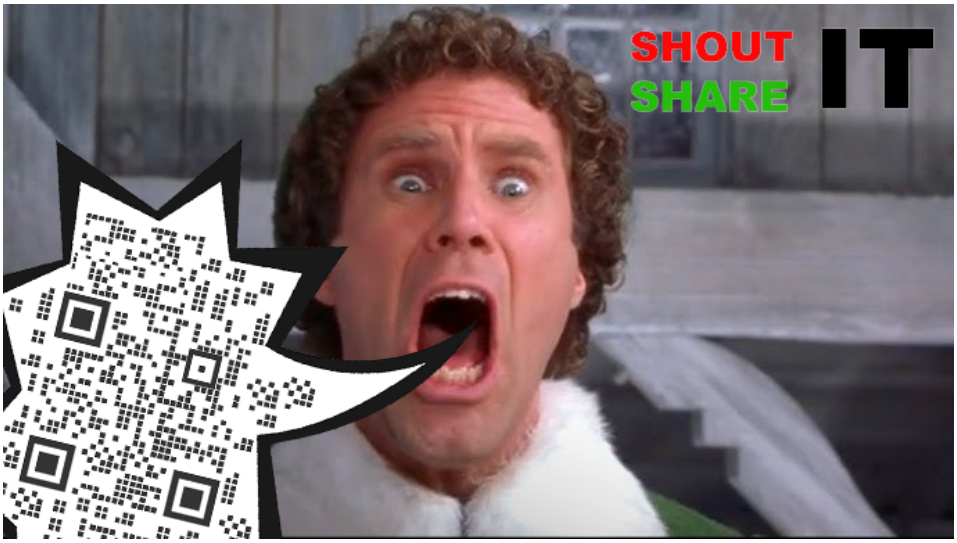
Дорогами жизни

Алексей Кулаковский


SHOUT
SHARE
IT

- Кулаковский Алексей

Кулаковский Алексей
Дорогами жизни

Алексей Николаевич Кулаковский
Дорогами жизни
Рассказ
Перевод с белорусского Владимира Жиженко.

На опушке густого соснового бора, километрах в трех от деревни Поддубовки, стоит одинокая хатка. Еще год тому назад ее никто не мог бы назвать одинокой, потому что от Поддубовки до этой хатки и дальше, до самой Стомогильской реки, тянулись колхозные огороды. Почти рядом, в молодом яблоневом саду, была колхозная пасека, а за нею сразу усадьба хозяйственные постройки, школа, мельница. Потому что это место вовсе и не казалось оторванным, а служило как бы третьим концом деревни. Летом тут у Грыся Вечеры бывало иной раз больше народу, чем в деревне. Его дочери, теперь замужние, в пору жатвы дневали и ночевали у матери; тут проводили отпуск и подолгу гостили сыновья Грыся, да и каждому, кто работал на огородах или в поле, сподручно было забежать сюда - напиться холодной воды, посидеть минутку-другую в тени, перекусить.

А старый Тодор Юрко, колхозный пчеловод, как только начинали роиться пчелы, переходил сюда, считай, "на постоянное место жительства". Правда, и раньше, когда в колхозе еще не было пчел, Юрко часто навещал Грыся. У обоих была одна забота - пчелы. По две-три колоды со старыми семьями стояло у каждого на усадьбе, да еще ульев по семь было расставлено по всему лесу.

Летом, во время роения, около каждого улья гудели пчелы, потому что внутри колоды для них был положен кусочек прошлогодних сот, пучок сухого чебреца или несколько увядших ольховых веточек. Пчелы-разведчики отыскивали эти ульи и понемногу обживали их, чтобы потом привести сюда матку с роем.

В теплые, напоенные медовыми запахами вечера у стариков не находилось иных разговоров, кроме как о пчелах. Бывало, сойдутся у Грысевой хаты, сядут на завалинке и, если о пчелах все переговорено, просто молчат и курят. Кое-кто в деревне любил пошутить над стариками, изобразить, как они по целому часу просиживают на завалинке с трубками в зубах и молчат или беседуют о пчелах на непонятном посторонним людям языке:

- Ты там был?

- Гм...

- Ну и что там?

- Гн...

Позже, когда колхоз завел пчел, Тодор стал пчеловодом, а Грысь, хотя и любил помогать ему на пасеке, больше занимался столярным делом. Двух пчеловодов колхозу не нужно было, а хорошему столяру или плотнику работы всегда хватало. За год до войны Грысь в свободные часы сколотил на Стомогильской реке паром. Сначала им пользовались люди только для того, чтобы не мочить ног, переправляясь вброд, а потом и колхоз стал перевозить на нем хлеб и другие грузы. В горячие дни молотьбы и отправки хлеба государству Грысь сам и дежурил на пароме, потому что никто не умел так справляться с этим переправочным устройством, как старый Вечера.

А теперь Грысева хатка стоит одна-одинешенька, потому что Поддубовку немцы сожгли, пасеку уничтожили, а колхозные огороды пришли в запустение. Не видно вокруг хатки ни стежек, ни дорожек, да и самого хозяина уже третий день нет дома. Старая Грысиха несколько раз выходила за усадьбу, подолгу вглядывалась в лес. Сухой летний ветер, вдруг вырвавшись из-за деревьев, гнал к реке первые желтые листья. "Пришел Петрок, - невольно думалось Грысихе, - опал листок..."

Первый раз в жизни ей не хотелось замечать, что делается в лесу, в поле, как проходит лето. Да и что это за лето, когда жать нечего, когда на пасеке не роятся пчелы, когда не доносится из сада аромат краснобоких сочных малиновок?..

Грыся все не было, и старуха уже не знала, что и думать, когда его ожидать. Вернувшись, она садилась на завалинку, где когда-то любили сидеть Грысь с Тодором, и ждала до сумерек. Вечером шла в хату, но огня не зажигала. Если зажечь лампу, то нужно будет завесить окна, а тогда в доме становится глухо и тоскливо, как в погребе.

Грысь должен был вернуться еще позавчера. Третьего дня утром он позавтракал, надел свою серую полусуконную куртку, подпоясался сыромятным ремешком и, заткнув за пояс топор, стал набивать трубку.

- Куда ты? - несмело спросила жена.

Но хозяин, как нередко с ним бывало, только бросил в ответ "хм" и вышел из хаты. Потом, дойдя до ворот, остановился, попыхкал трубкой и, ступив шаг к окну, буркнул:

- К вечеру приду.

- Так возьми хоть хлеба краюшку, - метнулась к дверям Грысиха, но старик, не оглядываясь, зашагал напрямик к лесу. Тонкая голубая змейка дыма тянулась от трубки и таяла у него

над головой.

Вот и теперь, когда Грысиха начинает вглядываться в черноту тихой летней ночи, ей нет-нет да и покажется, что она то в одном, то в другом месте совсем близко видит этот голубоватый дымок и даже слышит запах трубки.

* * *

Грысь вернулся только на четвертый день. Сначала он сказал жене, что ходил посмотреть своих и Тодоровых пчел, а потом, как-то мимоходом, намекнул, что были дела и посерьезнее.

- Так это ты все за роем бегал? - с легким упреком спросила жена.

Старик сразу не ответил, а, помолчав немного, затянул нараспев, словно что-то привычное и обыкновенное:

- Рой-то рой, да еще и не свой...

- Что же ты ел эти дни? - пытаясь добиться какого-нибудь толку, расспрашивала Грысиха.

Но Грысь проговорил еще пару слов только после того, как поужинал и с удовольствием затянулся дымком из своей трубки. Он рассказал, что около шестого Тодорова улья он встретился с самим Тодором, а потом в одном месте встретил многих поддубовцев и еще кое-кого из соседних деревень.

- Вот тебе и рой, - полушутя заключил Грысь. - Тодор познакомил меня с батькой этого роя. Там у них не матка, а батька.

Больше старуха ни о чем не расспрашивала. Постепенно, день за днем все само собой становилось понятным.

На другой день после возвращения Грыся пришел на хутор Тодор. С полчаса они посидели в хате, поговорили намеками, как бывало, про пчел, а уже за полночь взяли топоры и направились к реке. Грысиха не сразу догадалась, куда они пошли, но утром, заглянув случайно под печь, все поняла. Грысь по своей хозяйской привычке принес домой несколько сухих тесин. Хозяйка проворно сунула их в печь, а когда Грысь проснулся, подошла к нему и, присев на кровать, стала шепотом просить:

- Ты уж делать-то делай, как знаешь, только чего не нужно в хату не приноси. Это ведь слава богу, что я огляделась, а если бы чужой кто зашел?.. Ты же слышал, небось: по всем деревням шныряют, хватают людей, стреляют, вешают...

В ту ночь Грысь с Тодором изрубили паром. Давно бы нужно было это сделать, да Грысь, пока был один, не знал, как будет лучше: разрушить паром и пустить его с водой или оставить в целости, чтобы при случае можно было переправить кого-либо из своих. Теперь же из партизанского отряда передали, что паром лучше уничтожить, иначе его могут использовать гитлеровцы.

Придя ночью на переправу, Грысь первый раз в жизни с размаху ударил топором по вещи, которую сам с такой любовью делал. Паром вздрогнул и глухо, тревожно застонал. По реке стремительно прокатилось эхо и отозвалось где-то далеко в лесу.

На следующую ночь старики перетащили в прибрежные кусты все челноки и лодки, которыми могли воспользоваться враги. Потом, возвращаясь на хутор, остановились возле старого, в два обхвата, развесистого дуба. На толстых ветвях дерева, похожих на две вытянутые руки, стоял Грысев улей. Правая сторона его, если смотреть от поля, казалась беловатой; повыше с этой же стороны свисал лист березовой коры, похожий на козырек поношенной кепки. Левая сторона была почти черной.

Старики прильнули к дереву, приложили к коре уши.

- Чуешь, гудят... - с глубокой затаенной радостью сказал Грысь, показывая чубуком на улей. - Пять лет пустовал, а теперь, видишь, прилетел откуда-то рой и сел. Давно живут, с самой весны.

Тодор долго слушал молча, потом, отступив от дуба, присел на пенек и начал тихим грудным голосом, похожим на пчелиный гул:

- Тревожно пчеле стало дома, так она - в лес... Вот и мой шестой улей с семьей теперь. Живут себе пчелки и медок носят и размножаются... А если что, так они и постоять за себя умеют. Помню, покойница Бараниха хотела как-то мой рой поймать. Пчелы свились у нее на вишне, так она, ни слова мне не сказавши, за решето - и туда. А они ей такого задали жару, что она дней десять каталась, чуть богу душу не отдала. До самой смерти потом баба за полверсты обходила ульи. А мне тогда, признаться, больше пчелок жалко было, чем этой загребущей женщины. Добрая треть роя отсыпалась, так пластом под вишней и лежали...

Грысь заметил:

- Пчела жизнью жертвует, если нужно...

Промолвив это, он тоже отошел от дерева, нащупал ногой рядом с Тодором пенек, сначала выбил об него трубку, потом сел.

- А немец, слыхать, снова на Москву прет, уже в обход пробивается...

- Не пробьется, - по-прежнему тихим, но уверенным голосом сказал Тодор. - Напорется на рожон, чтоб ему пусто было. Тут вся земля нашим духом пропитана. Ничто чужое, вражье на ней не прорастет. Вчера я кусочек меду принес в отряд. Там у нас одна девочка лет пяти все болеет и болеет, бедная... Дал я ей этот кусочек, так она подняла головку, глядит на меня и спрашивает:

- Может, это, дедушка, из нашего колхоза медок?

- Из колхоза, - отвечаю.

- Ой, какой сладенький, - обрадовалась девочка, а личико так и посветлело, так и засветилось счастьем.

В лесу было тихо. Не только нижние листья дуба, но и те, что на самой макушке, были почти неподвижны. Казалось, что над дубом не голубое, с белыми прожилками, небо, а стеклянный навес. Прислушавшись, можно было различить пчелиный гомон, даже не подходя к дубу.

- Пилу на завтра подточить? - выгребая из кармана махорку, спросил Грысь.

- Подточи, - сказал Тодор. - Завтра мы поработаем на большаке, а там надо будет подумать и насчет немецкого имения в Бранчицах. Ходят слухи, что немцы согнали туда скотину чуть не со всего района. Ты там скажи своей, пусть сходит туда, проведает родичей... Ну, а теперь мне уже и до дому пора, скоро светать начнет.

Тодор поднялся с пня, молча пожал Грысю руку и исчез в темноте.

На другую ночь они вдвоем спилили десятка два телеграфных столбов по дороге на Слуцк, а еще через несколько дней пошло дымом Бранчицкое имение. День за днем Грысева хата становилась все более известной в лесу - сюда приходили партизаны, как на одну из своих баз, а в скором времени она стала местом, где рождались почти все важнейшие планы Поддубовского партизанского отряда.

* * *

Стомогильская река была тихой, хозяйственной рекой. Никакой беды людям она никогда не чинила: не угрожала разливом, не размывала берегов, не шумела злою пеной. В этом месте ее называли Стомогильской потому, что она протекала мимо большой деревни Стомогилы. Вообще же это была река Случь. Когда-то, в давние времена, стомогильцы даже землю из-за нее забросили. Столько рыбы водилось, что можно было ею одной и жить. Что ни человек, то рыболов. Малые дети еще и ходить-то как следует не умели, а уже учились плавать.

Одного только места на реке люди избегали. Оно было километрах в двух от Стомогил, там, где река врезалась в старый сосновый лес, и, если идти напрямик, - недалеко от Грысевой хатки. Это был омут. Черная, будто смешанная с сажей, вода тут вечно шумела и бурлила. В теплые летние дни отсюда дышало холодом, а зимой вода была теплая и не замерзала. Не только стомогильцы, но и многие из соседних деревень считали, что река в этом месте не имеет дна, что ни человек, ни животное, ни даже рыба, попав сюда, уже не выплывет - закрутит их, завертит и

какая-то неведомая сила потащит на дно.

Вот почему Поддубовский отряд и выбрал это место для своих переправ. Случайные люди сюда не заглядывали, вокруг было глухо, как на каком-нибудь островке посреди непролазного болота. К тому же и река тут была уже, чем в других местах.

Грысь с Тодором пригнали сюда несколько лодок, и при нужде партизаны переправлялись с одного берега на другой. Справа от реки километров на десять в глубину тянулся лес, а еще дальше шло болото, на котором то там то сям зеленели поросшие кустами бугорки. На этих маленьких островках были запасные базы партизан. В лесу за рекой жили партизанские семьи и хранились кое-какие запасы: взрывчатка, патроны, продукты питания. Потому-то переправляться через реку партизанам приходилось довольно часто, и каждую ночь если не Грысь, так Тодор дежурили на переправе.

Как-то раз незадолго до полуночи Грысь перевез за реку троих партизан и, когда они, распрощавшись с перевозчиком, направились в лес, присел на кочку шагах в пяти от реки, снял куртку, накинул ее на голову и стал прикуривать. Огонек спички на минуту осветил его поношенные, мокрые от росы лапти и желтоватую траву под ногами. Старик сидел, скорчившись под курткой, и курил так, чтобы не видно было огня. Вдруг возле лодки послышались шаги и чей-то голос тихо спросил:

- Отец, где ты?

Грысь взял трубку в кулак и скинул с головы куртку.

- Тут я, - так же тихо ответил он.

Двое в брезентовых дождевиках - один с автоматом, другой без оружия подошли к нему. Осенняя ночь была так темна и над рекой висел такой густой туман, что лиц людей никак нельзя было рассмотреть.

- Перевезите нас, - сказал человек с автоматом, и только по голосу Грысь узнал его. Второй человек молчал, но ведь если знаешь одного, так о другом можно и не спрашивать. Вечера встал, натянул куртку и, снова взяв трубку в кулак, зашагал к лодке.

Когда причалили, знакомый партизан поблагодарил Грыся и снова назвал его отцом. Это было не совсем обычно в тех местах, но Грысь привык уже к тому, что его так зовут: у военных людей свои правила. Ничего не ответив, он повернулся, чтобы отойти да присесть где-нибудь - докурить трубку, но тут вдруг ему послышалось слово, которого он давно-давно не слышал и которое не раз заставляло его вздрагивать во сне и просыпаться. Грысю показалось, что кто-то позвал: "Тата!" И голос был такой знакомый, такой близкий сердцу. Захотелось вдруг обернуться, с

распростертыми руками броситься на голос, обнять этого человека, прижать к груди. Да ведь мало ли что может послышаться человеку, который уже давненько живет один. Война разлучила его с детьми, и вот уже почти полтора года он ничего не знает ни про своих сынов, ни про дочерей. Двое сыновей до войны жили и работали в городе, один еще учился, а где они теперь и что с ними - неизвестно. Обе дочери, жившие в Поддубовке, вместе с детьми подались за Днепр. Но успели они спастись от фашистов или нет - тоже неизвестно.

Вечера, застыв на месте, слегка повернул голову, но на людей не смотрел.

- Тата, - снова послышался тот же родной, до боли знакомый голос. Теперь уже Грысь не выдержал, оглянулся. Незнакомый человек шагнул к нему.

- Это я, - тихим, заметно взволнованным голосом проговорил он.

- Алесь? - Старик не верил своим глазам. Перед ним действительно стоял сын. Вот его широкое, с глубокими складками в уголках губ лицо, слегка прищуренные глаза блестят в темноте. Отец положил ему на плечо свою руку с зажатой в ней трубкой, привлек к себе. Сын наклонился, правой рукой обнял отца за шею и прижался к седой бороде.

- Постарели вы, татка...

Старик вместо ответа спросил:

- Откуда идешь?

- Да вот... - неопределенно показал сын на лес за рекой. - А мать дома?

- Дома.

- Пойду проведаю маму. Вы пойдете домой?

- Нет, я на дежурстве.

Спустя несколько минут Алесь с автоматчиком направились в сторону хуторка, а Грысь снова остался один. Он подошел к кусту можжевельника, сел на сухой мох и, прикрывшись курткой, стал курить. В нескольких шагах от него тихо журчал ручей, пробиваясь из лесу к реке. Сама река текла спокойно, только в омуте, справа от лодки, как в огромном кипящем котле, бурлила и переливалась вода. Грысь вслушивался в этот однообразный суровый шум и думал про сына.

Война застала Алеся в Минске. Как вступил человек в войну? Успел мобилизоваться или нет? Был в армии или нет? А может быть, эвакуировался?.. Тогда чего же он здесь?.. В гражданском, без оружия...

Вечера поднял голову, вынул изо рта потухшую трубку, опустил ее чубуком вниз. Туман над рекой густел все больше и

больше, казалось, что огромная и плотная, как снежная стена, туча спустилась с неба и легла на воду своей тяжестью. Речка покорно несла эту тяжесть, только омут протестовал и злился, поднимался в берегах, словно силясь отбросить от себя, рассеять туман. Грысь вглядывался в черное беспокойное пятно на воде.

"Если бы не служил в армии, а был, скажем, где-нибудь тут, поблизости, - вертелась у него в голове мысль, - так, наверно, дал бы знать о себе. А то ведь сколько времени ни слуху ни духу..."

Старику вспомнилось, как нынче, перед самой весной, приходил домой сын одного знакомого стомогильца. Пришел заросший, оборванный, на ногах стоптанные солдатские ботинки. Люди подумали, что человек с фронта какие-нибудь вести принес, под вечер посыпали к его хате, а отец его - двери на засов, окна завесил, чтобы и через окна не глядели на такого гостя. Оказалось, что пришел он домой отдохнуть, поваляться на полатях, пока другие будут воевать. Удрал из отступающей части, переждал самое страшное у теплой хозяюшки на печи, а потом подался домой.

Пока жил "гость" дома, окна в хате и день и ночь были завешены, калитка заперта на крюк и ворота наглухо завязаны веревкой. Люди обходили эту хату, как тюрьму, как самое гадкое, проклятое место. Отец того выродка и сейчас еще не может открыто смотреть людям в глаза.

Эта мысль больно ранила душу. "Неужто и Алеся те же стежки привели сюда, неужто его сын сбился с пути?.. Нет, не может этого быть... Если так, то лучше уж в этот омут головой..."

Незадолго до рассвета Грысь оттащил в кусты лодку, прикрыл ее зелеными ветками, папоротником, а сам направился домой. Хотелось скорее увидеть сына, на свету поговорить с ним, а если что, так и прямо спросить. Поглядеть в эти прищуренные глаза, взять за чуприну, как брал когда-то маленького, и спросить сурово, беспощадно. Он должен сказать отцу правду... А не скажет, так пусть не считает себя сыном, - проклятие ему вечное...

В хате на выступе печи коптила лампа. Сын, раздетый, в синей суконной гимнастерке, перетянутой широким желтым ремнем, сидел на кровати, склонившись на спинку, и, подложив руку под голову, дремал. Темно-русые, давно не стриженные волосы, разделившись на темени, падали космами на правое ухо и на левый висок. Автоматчик сидел на скамье у стола. Он тоже снял дождевик, но автомат держал при себе и не дремал. Грысь, заметив предостерегающие жесты жены, тихо прикрыл за собою дверь, бесшумно разделся, вытащил из-за пояса топор и не швырнул его, как обычно, под лавку, а взяв за конец топорища, осторожно сунул под печь. То, что он увидел сына хотя и не в

военной, но в добротной одежде, немного успокоило его, но, поглядев на жену, он уловил на ее лице едва заметную тень той же глубокой тревоги, которая волновала и его самого. Он понимал, что она давно ждала его, что ей надо хоть парой слов перебросится с ним о сыне, но сознательно не начинал разговора.

- Ужинали? - вполголоса спросил он и показал глазами на сына и на автоматчика. Потом вытер ручником бороду и, пригладив ладонями волосы на голове, подошел к лавке, на которой сидела жена, присел рядом и, не глядя на нее, стал задавать короткие, как бы только намекающие на суть дела вопросы:

- Куда?

Грысиха, боясь, что ее, не дослушав, перебьют новым вопросом, беглым шепотом торопилась сказать, что она ничего об этом не знает, что люди проголодались в дороге и она первым делом позаботилась о том, чтобы их накормить, а куда они держат путь, так и не спросила.

Грысь продолжал:

- Откуда?

Однако и этого жена не знала.

- Я у тебя спросить хотела, - сказала наконец она.

Тогда Грысь решил поговорить с автоматчиком. Он подошел к столу, сел напротив гостя, посмотрел на него, кашлянул, но снова обратился к жене:

- Чего свет на печь поставила, вроде бы еще не зима?

Грысиха поспешно сняла лампу и перенесла ее на стол. Старик уменьшил немного огонь, чтобы не коптил под носом, постучал в нерешительности пальцами по столу, потом начал примерно так же, как говорил с женой:

- Значит, идете...

Трудно было понять, вопрос ли это или утверждение, поэтому автоматчик, чтобы не показаться невнимательным, ответил:

- Да, идем...

Вечера понял, что такими расспросами от автоматчика ничего не добьешься, но сделал вид, будто партизан нарочито отвечает неточно.

- Я вижу, что идете, - с упреком сказал он, - что ты мне про это толкуешь! Я спрашиваю, куда вы идете, откуда идете... А это легче всего сказать: "Идем".

Выходило, как будто Грысь и в самом деле злился, поэтому человек с автоматом даже покраснел немного и старался как мог угодить старику.

- Ну, как вам сказать, - оправдывался человек. - Товарищ

командир велел идти с ним - вот я и иду... Вот сейчас мы здесь, а куда завтра пойдем - не знаю. И откуда прибыл командир в наш отряд, мне тоже неизвестно... У него дороги широкие...

- Ага, вот то-то же, - вдруг оживившись и повеселев, закивал головой Грысь. - Значит, ты с ним, именно ты с ним, а не он с тобой. Про это же я и спрашиваю. А я, видишь ли, думал, что, может быть, не при нас будь сказано, ты куда его ведешь.

Человек с автоматом засмеялся:

- Ну и взбрело же вам в голову! Неужто вы и вправду ничего не слышали про вашего сына?

- В том-то и дело, что нет.

- И ничего удивительного, потому что он недавно прибыл в наши места... Но, между прочим, он тут главный над всеми партизанскими отрядами.

У Грыся тяжкий камень свалился с сердца. Будь он тут один, наверно, рассмеялся бы старик от радости, сказал бы что-нибудь веселое, но при постороннем человеке не дал воли своим чувствам и продолжал беседу в том же духе, что и прежде.

- Так-так, ну хорошо, значит...

Потом снова постучал пальцами по столу и вдруг повернулся к жене:

- Так, говоришь, перекусывали? А почему ты подушку ему не дала под голову... да вот и ему. Вздремнул бы малость, - предложил Грысь автоматчику.

Но тот, отвернув уголок оконной занавески, покачал головой. На дворе начинало светать.

* * *

Посещение сына осветило жизнь стариков новым светом, прибавило крови в жилах, твердости в мыслях. Глубоко в душе носили они слова сына, сказанные им на прощанье:

- Я приходил к вам не только как к родным, но и как к партизанам. Я слышал в отряде про ваши дела. Целую вас за это, как сын, а как командир, благодарю от имени Красной Армии. А насчет нас всех можно не беспокоиться: Николай сейчас под Сталинградом, а Виктор выехал с военным заводом на Урал.

Старики проводили сына чуть не до самых передовых постов Поддубовского отряда. На верхушках старых сосен тихо занимался день. Осенние птицы бойко перелетали с дерева на дерево, порхали в кустах. Лес постепенно наполнялся их голосами, хотя и не такими веселыми и жизнерадостными, как весной, но все же еще довольно бодрыми.

Вернувшись домой, Грысь долго, с особым старанием точил пилу. В эту ночь ему с Тодором было приказано устроить завал на одной важной дороге. За час-другой нужно будет свалить немало

толстых деревьев. Каждую ночь, свободную от дежурства на переправе, они были на работе: если не с пилой, не с топором, так со спичками, а в последнее время познакомились и с минами. По слуцкой дороге непрерывно сновали взад-вперед немецкие автомашины, и уже не одна из них разлетелась в щепки вместе с пассажирами.

Хватало работы и Грысихе. То на родины, то на поминки, то по каким-нибудь делам ходила она к родне в окрестные деревни; пекла коржики на сахарине и носила их в Старобин продавать. Она знала, что делается в каждой деревне, через нее партизанский отряд давал задания многим своим связным.

Так в труде и заботах проходили короткие осенние дни. Уже не нужно было особенно спешить, если за ночь приходилось сходить куда-нибудь за десяток, а то и больше километров, сделать дело и вернуться назад. Начинались заморозки. По ночам подмерзала у берегов река.

Как-то под вечер Грысиха пришла из Старобина едва живая. До того запыхалась старуха в дороге, что, войдя в хату, долго не могла отдышаться. Между морщинами на лбу, на бледных, немного отекших щеках блестел пот. Запинаясь и большими усилиями сдерживая кашель, она сообщила, что Старобин битком набит оккупантами и что в соседние деревни, говорят, тоже понаехало много карателей.

- Видно, задумали что-то, чумы на них нет. Старобинцы говорят, что это неспроста...

Вечера, заметив, что жена дрожащими от усталости и тревоги пальцами пытается нащупать пуговицу на фуфайке, сказал тоном военного приказа:

- Спроста или неспроста, но не раздевайся! Пойдешь в одну сторону, а я в другую.

Однако не успел Грысь одеться и сунуть за пояс топор, как к хутору подъехала автомашина и немецкие автоматчики, соскочив с кузова, в один миг окружили хату и хлев. В хату вошли четверо гитлеровцев и с ними маленький, сухонький, похожий на заморенного козла человечек.

- Здравствуйте, пане Вечера, - переступая порог, сказал он. - Куда же это вы собрались на ночь глядя?.. А гостей и не ожидали?.. Здравствуйте!

Он снял шапку, такую же облезлую, как и его борода клинышком, и протянул Грысю руку.

Старик, измерив "гостя" взглядом с головы до ног, полез в карман за трубкой.

- Не бойтесь хороших людей, - брызгал ядовитой лестью человечек. - Пан фельдфебель хочет оказать вам честь. Панам

немецким военнослужащим нужно побывать за речкой, а у вас лодочка... Я и сам мог бы их перевезти, да ведь без вас лодочки нигде не найдешь. Вот переедем, а там, может быть, проведете нас малость, а если нет, так мы и сами уже не заблудимся.

Грысь слушал молча, а сам думал: "И откуда он вынырнул, злодюга, проходимец?" Горько было оттого, что в хате стоял поддубовец. Что он в своей жизни не брезговал ничем, это все знали. Было удобно - обманывал, плохо лежало - крал. Незадолго до войны, как медведь, повадился в мед, распотрошил несколько ульев на колхозной пасеке. Потом отирался в Чижевичах при церкви, позже на каком-то складе работал и в конце концов за воровство угодил в тюрьму.

- Чтоб на тебя туча темная нашла, чтоб ты сквозь землю провалился на этом самом месте, ирод, христопродавец окаянный, - шептала, стоя у печки, Грысиха.

А человечек, будто ничего не замечая, продолжал:

- Сколько ваша лодочка берет? Переплывем, а там еще десяточек молодцов переправите, если пан фельдфебель прикажет.

- И ты поплывешь? - раскуривая трубку, спросил Грысь.

- А как же, вы уж от меня не отворачивайтесь, - ехидно засмеялся человечек. - А чтобы оно надежней было, пускай пан фельдфебель попросит пани хозяйку подождать нас здесь, да уж заодно и дом посторожить. - Он обхватил костлявыми пальцами свою сухую волосатую руку и показал глазами на Грысиху. Фельдфебель подал знак. Двое гитлеровцев подошли к старухе, надели ей на руки стальные наручники и привязали веревкой к стояку печи.

- Вот это лучше всякой охраны... Если пан Вечера захочет еще повидаться со своей хозяйкой, он будет выполнять все просьбы пана фельдфебеля.

- Бери шестерых, - пыхнув дымом в слюнявый рот поддубовца, сказал Грысь и направился к дверям.

* * *

На четвертую ночь, наведавшись домой, Грысь не узнал своего хутора. В бледном свете месяца чернела только обгорелая глинобитная печь, да свежая, еще не прибитая дождем зола лежала светлым пятном на том месте, где стояли хата и хлев. Покопавшись в золе топорищем, Грысь нашел свою пилу-поперечку, а потом возле печи звякнули под ногой стальные наручники. Вечера встал на том месте, где в последний раз стояла его жена, опустил одним концом вниз посиневшую в огне пилу и снял шапку.

- Прости, Настуля, - тихо, с надрывом в голосе сказал он. - Не

мог я иначе... Я знаю, что и ты на моем месте не поступила бы иначе...

И перед глазами у Грыся закружилась в омуте наполненная врагами лодка. Вот, перекрестившись, он с размаху опускает весло на голову изменника и грузно наваливается на борт... Все дальнейшее мутно, как во сне. Никому старик не смог бы теперь рассказать, как он выбрался из омута, как у него хватило сил, коченея в холодной воде, доплыть до берега, а потом в мокрой одежде, совсем изнемогая, добежать до партизанского лагеря...

Колючий, сухой ветер вырвался из-за леса и жалобно загудел в осиротевшей трубе. Прядь седых волос на голове у Грыся зашевелилась, затрепетала, как лоскуток тонкой бересты на стволе, и снова легла на правую сторону лба. Старик надел шапку, взял на плечо пилу и подался в лес. У переправы его ждал Тодор.

1946